

НЕЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЧАСТИЦА... **(О новой книге стихов Евгения Сливкина)**

Вышел в свет новый сборник Евгения Сливкина, называется *Обреченный снег*¹.

В конце зимы, что нам казалась бес-
конечной, небо светится неброско,
стоит худой и поредевший лес,
как из сраженья вышедшее войско.

Об эту пору гуси испокон
веков торят обратный путь воздушный,
и лошади без войлочных попон
на скотный двор выходят из конюшни.

Читатель спросит в недоумении: ну и что? Что тут такого, особенного? Стихи как стихи. И то верно... Ничего особенного нет.

Но пусть читатель не спешит с выводом:

Нам кажется, сейчас журчащий бег
ручья наполнит всю округу новью,
а это просто обречённый снег
лежит и набухает тёмной кровью.

Вот во что всматривался поэт, прежде чем вдруг увидел, что снег, на который он смотрел, обречен не просто на то, чтобы растаять, а на нечто гораздо худшее, и даже страшное: на воспаление, да не просто какое-нибудь, а которое еще и с кровью...

В этом умении Сливкина всматриваться и видеть вечную трагедийность жизни - секрет необычайной глубины и метафоричности его поэзии.

Вот еще одно прозаичное «начало», не обещающее ничего «особенного»:

¹

Я от платформы Комарово
льжнёй скользил наискосок,
и возле кладбища лесного
лепил без варежек снежок.

¹ Евгений Сливкин: *Обреченный снег*, стихотворения Littera Publishing LLC, 2020.

Ну и что? Что тут такое особенное мы видим, чтобы вдруг полюбить это стихотворение? Чтобы сказать себе: о, оно захватило меня с самого начала, с первых строк...

Крепленья сбрасывал в сугробе,
и шёл в еловой темноте
среди торжественных надгробий
к одной обыденной плите.

В стихотворении перед этим лошади сбросили с себя попоны, а тут человек сбросил лыжные крепленья. Гуси «торили» воздушный путь, а человек «торит» свой путь среди леса и кладбища, в этом лесу расположенного. Там дохнуло весной, а здесь этот темный лес как бы расступился перед каменными надгробиями...Главное, что там и тут это все очень обыкновенно, прозаично. И хотя надгробия торжественны, но поэт и сам сказал, что шел не к ним, а к «обыденной плите».

Над ней кружился снег усталый,
и луч, пробившись, остывал,
и я на ней комок подталый –
в руке согретый – оставлял.

Пейзаж тут обречен на свое радикальное преобразование...И вот оно – чудо: как-то вдруг, без предупреждения, эти каменные надгробья, торжественно молчащие над миром ушедшим, вдруг как бы «проронили слезу». Эта слеза, вылепленная поэтом из снега, оказалась не просто теплой, а горячей, пронизанной теплотой великого человеческого чувства, которым дышит все живое, дышит и вопиет о себе вопреки всему преходящему, уходящему, отнимающему, оскорбляющему, унижающему... Имя этому чувству любовь, и на воскрешающую его силу обречено все живое, все настоящее, даже холодный снег обречен на то, чтобы согреться под рукой человека, пришедшего к тому, кого он любил и продолжает любить...А вот и еще одно прозаичное начало:

Шинельно-серый наст к земле приник,
рукав ручья трепещет при дороге,
где в марте умирает снеговик,
как венценосный стоик в белой тоге.

А вам пришло бы в голову сравнить снеговика, его нос-морковку и глуповатые круглые глазки, с венценосным стоиком в белой тоге?

Степенно оседает, оседа...
 в молчании – ни стонов и ни жалоб.
 Река времён – какая ерунда...
 Не вечности жерло, а сточный жёлоб!

Вот в том-то и заключается настоящая поэзия, что поэт приобщает и читателя к труду «открывателя». Сборник Сливкина захватил меня тем, что заставил вчитываться в каждое стихотворение, ибо каждое из них было продолжением если не предыдущего, то какого-нибудь другого обязательно. Согласитесь сами: разве этот «стойк» с морковным носом не является продолжением того самого снежного комка, который согревал в своей руке поэт перед тем, как оставить его на могиле близкого себе человека? И как тот снежок, тая под теплом, исходящим от человеческой руки, радовался за свою такую прекрасную судьбу, так этот стойк героически переживает гибель в сточной канаве затухающего исторического процесса, в сточной канаве, которой обернулась когда-то роскошная полноводная река блистательной зимней поры с ее сверкающе манящими снежными далями...

И перед окончательным концом, –
 но только перед ним, и только разом! –
 с глазастым он расстанется лицом
 и сам себя накроет медным тазом.

Вот и выясняется, что это стихотворение про каждого из нас: краем глаза, в одну сотую долю секунды поэт увидел снеговика и понял, что перед ним не снеговик, а все тот же снег, набухающий кровью, или, например, каждый из нас, героически гибнущий в сточной канаве обмельчавшей «реки времен»... И вот этим своим стремительным взглядом, своим пронзительно глубоким сочувствием, поэт подержал несчастного стойка, послал ему братский привет перед его смертью, отдал умирающему частицу своего тепла, послав неслышное для других: вижу, вижу, мой тающий друг, ты умираешь стоя...

Вся поэзия только об одном: об умении человека жить и умирать *с другим и во имя другого...*

Ты выпросталась из-под одеяла
 и запахнулась заспано в халат.
 «Как ты спала?» Ты отвечаешь: «Мало
 и плохо». Кто же в этом виноват?

Заметили? Точно такое же «никакое» вступление. Начало, не обещающее никакого развития событий. Прозаичнее ничего и быть не может.

Я знаю, ты вовек не станешь стервой,
ведь я тебя люблю не для того:
ты сдуру не уйдёшь из жизни первой,
меня ты не оставишь одного!

И вот из такого «никакого» вступления» вдруг поднимается легкий дымок, и мы вдруг понимаем, что никакой это не «холмик», ведь перед нами семья, а «семья» это значит обязательно вулкан. Пусть спящий, а все-равно вулкан. Стало быть и время вокруг «холмика» совершенно особое: одно мгновение, и мирная спокойная горка превратится в изрыгалице черных огненных туч... А это, в свою очередь, значит, что скучная проза четырех первых строк вдруг обрачивается каким-то подозрительным шевелением, как бы сбрасывая с себя не то остатки сладкого сна, не то остатки обыкновенной скуки... Вулкан, одним словом, просыпается. Слово «стерва» шокирует. Этого мы не ждали... Но зато теперь нам вдруг стало ясно: звуки «Как ты спала?» оказались звуками взводимого курка. Как говорится: Молилась ли ты на ночь, Дездемона? Нет, мы ошиблись, тут любовь. Какой там «курок», если звучит: Ведь я тебя люблю... Но зачем это «ведь»? Откуда оно? А это все тот же курок, его продолжение... Это медленное наведение пистолета... Ибо: любить-то люблю, но совсем не для того, чтобы ты оставила меня одного... Люблю тебя не ради тебя, а ради себя... И хочу чтобы ты «хорошо спала» во имя моего спокойного сна, чтобы все вернулось на круги своя: когда хорошо спалось обоим... Но и тут есть своя диалектика, своя глубокая и светлая истина: чем ближе к концу, тем дороже совместная жизнь, совместное существование с тем, кого любишь... Ведь если случится что, то для тебя вместе с тобой куда-то во тьму провалится половина твоей жизни... Как это ни парадоксально звучит, а именно близость пропасти, близость Смерти, делает каждый миг этой остающейся жизни светлее, прозрачнее, величественней... В мозгу несмолкаемо звучит какая-то грандиозная мелодия, что-то мощное, органное, светлое... И, как результат, вот такой светлый, торжественно-органный финал стихотворения:

Но если в некий день случится это –
со мною рядом ляжет тень крыла.

И не простят мне твоего ответа
на заданный вопрос: «Как ты жила?»

Стало быть – и отвечал, и отвечаю, и буду отвечать за твою жизнь до последнего твоего дыхания... Перед другими и перед собой...

Стихи Евгения Сливкина это любовный эпос. Они предельно откровенны благодаря этой самой эпической ноте. Тут можно сказать все что угодно. И даже такое, о чем не говорят. Потому что это, прежде всего, о любви поэта ко всем и ко всему. Он живет на Небе точно в такой же степени как и на Земле... А потому признается в самом глубоком, самом интимном в таких выражениях, такими словами, которые, в силу своей эпичности, звучат не то органом, не то колокольным звоном, то есть такими нотами, которыми пишется самая высокая и сложная музыка:

Мы будем по закону естества
единой плотью до тех пор, покуда
сердца в нас сообщаются, как два
одной юдолью спаренных сосуда.
Мы эту жизнь вдвоём переживём,
пустые дни на стержни лет нанижем,
но уровень отчаянья в моём
сосуде опускается всё ниже.
Два наших сердца бьются заодно,
хотя моё – взыскует лёгкой ноши,
наверно, у него ослабло дно,
и стенки, износившись, стали тоньше.
Внутри него витает скорбный дух,
который ищет для себя отдушину,
и принцип сообщающихся двух
сосудов по вине его нарушен.

Вот такое признание в любви... И опять: ну как в этом искреннейшем признании в любви не увидеть признания в любви и к себе тоже?.. При этом, признание, которое соперничает с любовью к ней?.. Но у Сливкина всё не так просто: он действительно любит другого: постольку, поскольку этот другой есть повод для его очень тонкого интеллекта проникнуть в эту таинственную «вещь в себе» и почувствовать себя по отношению к этой вечной кантовской загадке неким арбитром, которого этому другому Бог послал. В роли *другого*

тут может оказаться кто угодно, родной человек, незнакомый, жена, сестра, родители, более того – не только живые, но и мертвые...

Родившийся мёртвым не знает,
 что он появился на свет
 и тихим провалом зияет,
 в котором дыхания нет.
 За стенкой,
 в больничной палате,
 на койке забытая сном,
 роженица, как Богородица,
 беззвучно рыдает по нём.
 Но в беспрерывном режиме,
 до срока и в заданный срок,
 мы все умираем живыми, –
 и с нами он не одинок.

Мы уверены, что после этих слов роженице, несомненно, станет как-то легче. Она даже и не знает, что утешитель, стоящий у ее кровати, никакой не ангел хранитель, а просто Поэт. Поймет ли молодой читатель, о чем стихи Сливкина? Поэт предельно откровенен, но ни на йоту не изменяет своему языку, не жертвует ни единой буквой, ни единым звуком во имя пресловутой доступности... Расслышит ли молодой читатель тот самый колокольный звон, о котором мы сказали выше? Этот звон часто становится похоронным. Мы так привыкаем к этой музыке, что когда она вдруг смолкает, даже не знаем, что и подумать. Вот из стихотворения *Мертвые*:

.....
 Что знает накрепко вдова?
 Свои тягчайшие права.
 Что тайно чувствует вдовец?
 Что мощный пень он без колец.
 А мёртвым холодно и голо,
 они, поскольку там темно,
 не имеют сраму, то есть пола.
 Вдова, вдовец – им всё равно.

Здесь нет Утешения с его легкой философской грустью... Про что это? А про всё... А уж про «верх» этого «всё» поется, или про его «низ» (про его «внутри», или про его «снаружи») поэту совершенно неважно. Он, как та самая элементарная частица у физиков, которая

ведет себя как классический метафизик - умудряется быть в двух пространствах одновременно, он отлично знает, что «поэзия» это синоним «диалектики»... Короче говоря – сплошная метафизика. Вы думаете, Сливкин точно знает, «что тайно чувствует вдовец»? Или «что знает накрепко вдова»? Конечно же, нет! Знать тут толком ничего невозможно... Борясь с этой невозможностью, стараясь ее опровергнуть, поэт подражает философу-метафизику: перебегает от одной темы к другой, от одного предмета к другому, от одного вопроса к третьему и так без конца, да, к тому же, как вы понимаете, не сдвигаясь ни на йоту с места: меняет пространства во имя того, чтобы не менять их вовсе. В конце-концов он вдруг обнаруживает, что все дороги ведут в Рим: на все его площади сразу, где торгуют рабами и скотом, и яствами и ядами, где можно встретить кого угодно... Все эти римские Коллизеи и Пантеоны стоят на одной громадной площади рядом с греческими храмами и русскими церквями, рядом с Германскими соборами и Французскими музеями, а те рядом с нашими кроватями и кругоспальным плаванием вокруг своих мечтаний, обходя рифы и водовороты, то и дело попадая в жуткие страхи и ожидания... Кстати, эрудиция поэта ослепительна... И по вертикали (хронология) и по горизонтали (география)... С этой площади он не сходит, да с нее и невозможно «сойти», она величиной со вселенную...

Тут самое время вспомнить о предыдущем сборнике Евгения Сливкина: «Над Америкой Чкалов летит»... Да мало ли кто пролетал над Америкой кроме Чкалова! И Сливкин об этом прекрасно знает. Уж кто-кто, а он-то, профессор американского университета, пролетал над Америкой гораздо чаще Чкалова и, наверняка, знает Америку гораздо лучше легендарного летчика. Про него смело можно сказать: Над Америкой Сливкин пролетал, а можно сказать и так: Над физической метафизик пролетал... Истинный поэт - всегда метафизик. Поэт пилотирует свой самолет... Читатель, приглашенный им в кабину этого самолета, окажется в самом эпицентре поэтического «я» Евгения Сливкина. В эпицентре того «созерцательного аппарата», которым управляет художник. Пожалуй, даже и не так, ибо не Сливкин управляет своим созерцанием, а оно управляет Сливкиным: оно погружает его в мир предметов, в мир материи таким образом, что вещи становятся прозрачны, легко проницаемы... Поэзия это такой летательный аппарат, который пролетает не только сквозь предметы, но и сквозь душевные миры. Если вы хотите стать метафизиком, то это

очень просто: научитесь этому искусству у тех самых элементарных частиц, о которых мы только что говорили, научитесь летать так, чтобы особо не суетясь, не двигаясь, побывать всюду... В переводе на язык искусства лучше сказать: научитесь быть одновременно не в двух местах, а в двух правдах... И даже в трех, или в четырех... Станьте в конце концов не такой уж элементарной частицей! Евгений Сливкин это умеет.. Вот он, кстати, говорит о другом, любимом им, но совершенно ином, чем он поэте:

Наскучило внутренним быть эмигрантом
среди малопоющих и выбритых лиц.
Не лучше ль ворваться непрошенным квантом
в собрание элементарных частиц!

Сам-то Сливкин уже показал нам, как он может быть и снежным комком, слепленным теплой человеческой рукой, и могильным памятником, и зеленым лесом, и таинственным телом, лежащим в могиле и радующемуся своему земному гостю... И все это в пределах одного небольшого стихотворения... Одного небольшого пространства, но какого бесконечного!

Короче, мы клоним к тому, что элементарная частица не так элементарна, как нам может показаться, но такова природа метафизики: вся она буквально соткана из проблем пространства и времени, точнее сказать – из пространства и времени как проблемы. Бесконечно глубокой в своей принципиальной неразрешимости...

С одной стороны, наш поэт, действительно, «пролетает над Америкой», но с другой стороны, это она, Америка, пролетает над ним, став его небом. А вместе с ним и самой его жизнью... Он думает, что это он пролетает над жизнью, а это она пролетает над ним, да так, что от нее никуда не деться... Она подчас буквально давит поэта. Она по отношению к нему всякая...

Главная тайна этой таинственной Америки в том, что она, летя «по над Сливкиным» никак не может пролететь мимо: она столь огромна, бесконечна, сложна, что заменила ему и небо и землю, и даже то, что находится там... Она как тот самый Рим, пространство которого лишено границ, оно неопределимо только потому, что любой его обитатель зажат в тиски между двумя бытиями: бытием Императора и бытием гладиатора, разные две частицы в одном и том же, хотя и очень разном пространстве... Будем помнить, что каждая его книга это небольшой, но плотный философский томик, обращающийся

к читателю с критикой от имени «чисто поэтического разума». Вот один из его наиболее откровенных монологов:

Обрыдла дешёвая скупка
жемчужин безудержной лжи.
Дитя, вот миражная трубка,
а книжку пока отложи!

В самом деле, разве не очевидно, что книжка думает, что в ней написана правда, но это очередная ложь...

В глазнице и жарко и сыро –
в глазу то пожар, то потоп:
осколки разбитого мира
заполнили калейдоскоп.

Ты же, милое дитя, не сомневаешься, что это именно так, не правда ли? А раз так, то получается вот что: вращай калейдоскоп, не вращай, а осколкам этим никуда не двинуться. Свободного пространства между этими осколками уже никакого нет, не осталось...

На дне распускает жар-птица
волшебную сказку хвоста,
чтоб жабой цвела роговица,
а склера осталась чиста.
Так в небо ночное астролог
сквозь линзу вперяет зрачок.
Но недостающий осколок
тебе же вживлён в мозжечок!

Тут кто угодно растеряется, лишится дара речи – независимо от того, взрослый это человек, сложившийся, или дитя, которое отложило книгу во имя очередного философского соблазна... Это что-то такое, что сказано про каждого из нас. Короче: смотри не смотри, глядишь-то все-равно не вперед, а назад, во тьму собственной черепной коробки глядишь...

И то, что сияет во взоре,
направленном верно – во тьму,
не может ни в жабьем узоре,
ни в птичьем открыться ему.

Кажется, лучше Сливкина про кантовскую «вещь в себе» и сказать невозможно...

Вот из-за того, что он прозревает эту самую «вещь в себе», поэт не боится подчас быть непонятным... Не боится именно потому, что у него просто нет времени разгрести груды разноцветных осколков. Он слишком доверяет своему читателю, чтобы всякий раз объяснять ему, про что вот это сочетание драгоценно сверкающих камушков, а про что вот это...

Весь его трагический оптимизм только про одно: про «я знаю, что я ничего не знаю»... Правда, учтите, тут-то, вот в этом «не знаю», я – как у себя дома...

Гигантская, бесконечная Америка, не просто нависшая над поэтом, а обволакивающая его со всех сторон, такая же мощная загадочная Россия, а с ними и весь остальной мир, включая и каждого отдельного его обитателя, тут же превращаемого астрологическим оком поэта-метафизика в «неэлементарную частицу», вот это всё-всё-всё вдруг предстает перед нами чем-то вроде снеговика, оборачивается этой несчастной жертвой надвигающегося на нас мирового катаклизма, и в виде жуткой климатической катастрофы и в виде жуткого всемирного оглушения, короче говоря, мир вдруг обернулся для нас тем «медным тазом», под которым медленно, но верно тает снеговик, а вместе с ним тает и «миражная-трубка», она же – не то нос морковка, не то калейдоскоп, не то круглый глаз астролога, нарисованный черным углем на тающем снежном лбу...

Поэт в больнице, возле умирающего отца:

Родной, акцент сдвигаю – родный,
чтоб кровно обозначить род!
Недвижен в маске кислородной
твой безмолвившийся рот.

И ты походишь на пилота,
летающего над жизнью, над
звездой... Из этого полёта
не возвращаются назад.

А я? А я сокол на голой
земле, распластанной, как блин,
куда спускался дух весёлый,
где были мы отец и сын.

Тема сыновства живет в сборниках Сливкина с самого начала его творчества. Если можно так выразиться, то его душа всегда была открыта родственным (душевным) отношениям ко всему, что было важного в его жизни... Все его сборники переполнены влюбленностью, признаниями в любви... Он влюблялся в свой родной город, в свою страну, даже и когда она была красной, влюблялся в Грузию, способен был влюбиться и в какое-нибудь дерево и даже в Кощея Бессмертного влюблялся... Короче, создается такое впечатление, что в одной из своих прошлых жизней он был сиротой, и вот теперь не может нарадоваться возможности любить этот мир просто так, беззаветно и безответно, просто в благодарность за то, что вот теперь он на этой земле не один... Но любовь его далеко не слепа: он прекрасно понимает, что все любимое куда-то уходит, исчезает, тает прямо на глазах... И, как правило, в каждый его стих вписано какое-то полуторестное вопрошание к людям и предметам, о которых идет речь: помнишь, помнишь? Ведь мы очень давно знакомы, еще с тех пор, когда к нам спускался дух веселый, где были мы отец и сын, брат и сестра, две дерева, обнявшиеся посреди чистого поля, да мало ли кем? В том-то и дело, что хоть он и сказал про т о т мир, что «туда не возвращаются назад», но сам он всегда там, по закону этих самых частиц... По этим законам – мультинаправленного тяготения, именуемое любовью – живут все люди и все вещи, населяющие его стихи...

В результате, читать его книгу бесконечно интересно: такое впечатление, что она написана вашей рукой. Что тут все про вас. И выстроено, как выстроена для вас ваша жизнь: все перемешано, не знаешь где конец, а где начало, это ваш дневник, точнее, пряжа, из которой соткана вся ваша жизнь, или тот самый снежный шарик, слепленный теплой человеческой рукой, не то тающий на солнце, не то холодеющий на морозе... Но очень похожий на снеговика, на его второе я... Вы находите себя в пространстве, осколки которого, как в том калейдоскопе, замерли, прижимаясь друг к другу... Ведь из таких же осколков в такую тесную, такую плотную неподвижность сложилась и ваша жизнь. И вот то, во что эти радужные и нерадужные осколки столпились, в каком узоре замерли, какие композиции образовали – вдруг выдает вам хорошо известную истину, которая так хороша своей глубиной, что всегда будет звучать, как только что открытая. И Сливкин очень тонко прозрел глубину ее, этой истины, смысла: каждый человек, живущий «сознательно», строящий свое твор-

ческое я с таким же усердием, с каким садовник выращивает сад, а строитель строит дом, приближаясь к тому самому (самому последнему?) пространству своей жизни, вдруг понимает, что, в сущности, мы относимся к своей жизни так, как относимся к любимой женщине...

И лучше, чем поэт Сливкин об этом не скажешь:

Эта женщина нерв задевает,
у неё это свойство – в крови.
Этой женщиной овладевает
боевое искусство любви.

Эта женщина не принимает
перемирья. Она не впервой
в поединке с тобой применяет
запрещённый приём болевой.

Эта женщина взоры потупит,
поведёт беззащитно плечом.
И тебя никому не уступит,
и тебе не уступит ни в чём.

Как ее зовут, эту женщину? Сразу даже и не скажешь: может быть, «жизнь»? может, «поэзия»?..

В любом случае, вся она, до самого кончика ногтей – ...только чистая правда...

Виктор Дмитриев
(Университет Оклахомы, США)